



Маринна Рейба

ПИСЬМО С ЭТОГО СВЕТА

18+

Марианна Рейбо

Письмо с этого света

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23331752

SelfPub; 2018

Аннотация

Совершенно неожиданная книга. Жесткая, ироничная, откровенная. Оставляет тревожное ощущение недосказанности и строго охраняемой автором тайны. Графическая четкость житейских событий вдруг смывается волной экзистенциального бунта; шокирующая инфернальность разрешается смешной бытовой неурядицей. Автор, то играя, то исповедуясь, как бы воскрешает в памяти сакральное: «Будь реалистом – требуй невозможного!». Пересказать сюжет романа трудно. Надо читать. В оформлении обложки использована гравюра Сальвадора Дали «Слово Божье», 1974.

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

67

Марианна РЕЙБО

Письмо с этого света

Москва

«Вест-Консалтинг»

2015

От кого: Васильев А.Д. <aleksavasil*@ya.ru>

Кому: Сидоренко В.П. <sidorenko_vl*@mail.ru>

13 мая 20**, 18:10

Здравствуй, Владимир!

Как поживаешь? Прости, что так долго не звонил и не писал, но сам понимаешь, в каком ритме мы все теперь живем. Все мои здоровы, шлют тебе привет. Супруга просила узнать, не надумал ли ты жениться? Смотри, психиатру просто необходим надежный тыл, да ты и сам прекрасно знаешь.

Пишу тебе не просто так. Моя племянница (она сама из Самары, сейчас в Москве в институт поступила) переслала интересную штуку. Посмотри, может быть, пригодится для твоей докторской диссертации.

Обнимаю, твой друг Александр.

ЭТОТ СВЕТ

Одним движением руки остановив вагон,
В метро спускался с верхней станции сошедший
Слегка взволнованный и призрачный, как сон,
Голодный, нищий, пьяный ангел сумасшедший...

(Из песни группы ДМЦ)

1

Здравствуйте, господа! Впрочем, не знаю, зачем я это написал. Ведь слово «здравствуйте» подразумевает, что я желаю вам здравствовать, а мне, откровенно говоря, все равно, больны вы или здоровы. Кто знает, возможно, вы скоро умрете. И, поверьте, это вряд ли по-настоящему огорчит меня. Ведь я даже не уверен, что имею честь беседовать с вами. Вообще вряд ли кто-нибудь станет читать эту писанину, так что пишу для себя. Пишу лишь затем, чтобы отвлечься от боли. Боль пронизывает все тело и долбит дятлом то в висок, то в руку, то в живот. Нет, я не собираюсь тут распускать нюни. Но мне надо выговориться, тем более что на самом-то деле разговариваю я сам с собой. Вы – лишь прикрытие моего одиночества, плод воспаленного воображения. В конце концов, согласитесь, намного приятнее обращаться к кому-то, а не плевать словами в пустоту, будто ты и впрямь сумасшедший. Хотя не вижу в этом звании ничего зазорного. Сумасшедший – всего лишь сошедший с ума и ушедший в лабиринты подсознания. А подсознание, как известно, хранит в себе куда больше знаний и понимания, чем наши скрупу-

лезно запроваленные ерундой мозги.

Итак, раз уж я обращаюсь к вам, господа, позвольте представиться. Когда-то мое первое имя было Самаэль, но об этом теперь мало кто помнит. Зато мое второе имя знают все: Люцифер. Он же дьявол, сатана, лукавый и как еще вам будет угодно обзываться. Да-да, не удивляйтесь! Я знаю, в детстве мама говорила вам, что дьявола не существует. Это она так, лгала во благо, а сама не раз поминала меня недобрым словом, пропустив очередь к терапевту или застряв каблуком в гармошке эскалатора. И совершенно напрасно, ведь к чему-чему, а к этому я ни малейшего отношения не имел.

Впрочем, к делу.

Несколько тысяч лет назад мне был отвешен увесистый пинок, память о котором хранит незримый след на правой ягодице. Сброшенный с небес, я кубарем летел со скоростью света, пока не врезался в землю. Хоть я на тот момент еще не имел тела, не знаю, чем обернулось бы для меня падение с такой высоты. Но мне повезло – я свалился в Тихий океан. После моего падения на земной коре осталась приличная вмятина, скрытая под толщами воды.

Я долго не мог оправиться. Лежал без движения, скованный отчаяньем и бессильем, и в бешенстве грыз океанское дно. Так провалялся я то ли несколько часов, то ли несколько сотен лет, воя от боли и унижения, пока, наконец, горе и усталость не одолели меня и не погрузили в сон. Увы, забыть не длилось вечно.

Я родился. Как это было в первый раз, уже не помню, да это и не так уж важно. Ведь ни в одном из земных воплощений мне не довелось совершить ничего сколько-нибудь выдающегося. Скажу только, что каждый раз, умирая и заново рождаясь, я напрочь забывал о пройденном земном пути, равно как и о том, кто я есть на самом деле.

Что же до моей текущей жизни, она мало чем отличается от всех предыдущих. Только на этот раз мне-таки удалось вспомнить о своем подлинном «я» – вот и вся разница. Собственно, об этом моя история.

2

Меня родила обыкновенная, ничем не примечательная женщина, уроженка Санкт-Петербурга. Я жил в маленькой питерской хрущевке неподалеку от Сенной площади. Разумеется, я не помнил своего прошлого и вел образ жизни, какой подобает вести девчужке из интеллигентной малообеспеченной семьи: пытался учиться, высасывал книги одну за другой и страдал от несовершенства мира.

Да, вот еще один сюрприз для вас, господа, – я женщина. По крайней мере об этом свидетельствует мое анатомическое строение и вполне традиционная сексуальная ориентация. Прошу, не удивляйтесь, что я говорю о себе в мужском роде. Просто я уже столько раз перебивал на земле и «им» и «ею», что по психотипу я – чистый андрогин. Да кроме того и происхождение сказывается, ведь *там* я пола не

имел. Нет, не подумайте, в быту я говорю о себе, конечно, в женском роде, равно как и откликаюсь на него. Но раз уж я решил быть с вами откровенным до конца, буду говорить о себе так, как сам чувствую.

Cogito, ergo sum¹. Я бы к этому еще добавил – я помню, следовательно, существую. Сколько мне тогда было? Года полтора, наверное. Я стою босыми ногами на теплом полу у окна. На мне светлая пижамка в мелкий красный цветочек. На стене на гвоздике висит бежевый шарф и маленькая серая сумочка с бахромой... Тот момент стал пробуждением моего очередного «я», первым воспоминанием новой жизни. Не мама, не папа, а вот это, дурацкое – шарфик с сумочкой на стене. Забавно, не правда ли?

Поначалу я был вполне счастлив. Родители во мне, единственном и позднем ребенке, души не чаяли. Несмотря на более чем скромные средства, они старались по возможности снабжать меня игрушками и сладостями, чтобы я был, что называется, не хуже других. Впрочем, я редко играл с куклами и плюшевыми зверьками, которые быстро приедались. Куда больше я любил играть с матерью без каких-либо действий, используя лишь слова и воображение. Мы придумывали целые сказочные сериалы, я озвучивал одних героев, она других, и мы заставляли их двигаться, чувствовать,

¹ «Я мыслю, следовательно, существую» – известный тезис французского философа-рационалиста Рене Декарта (здесь и далее – *прим. авт.*).

жить.

Если мать поднимала бунт, я, хоть и с меньшим энтузиазмом, играл сам с собой – как правило, выступая сразу в двух-трех лицах: Мачехи и Золушки, плохой девочки Маши, хорошей Кати и их строгой воспитательницы, ну и все в таком роде. Но об этих моих представлениях в лицах никто не знал, потому что во время такого рода саморазвлечений я мог заниматься совершенно посторонними делами, лишь тихо бурча себе под нос.

Страсть к фантазиям доходила у меня в раннем детстве чуть ли не до галлюцинаций. Мне порой казалось, что я и вправду вижу сказочных чудовищ, которых придумал. Первая такая галлюцинация посетила меня года в три и запомнилась на всю жизнь. Июньский вечер. Я стою на пороге нашей небольшой дачки и смотрю в сереющее небо. И вдруг на горизонте появляются полупрозрачные великаны, облаченные в коричневые рясы с капюшонами. Великаны вереницей двигаются метрах в ста от меня. Они выше самой высокой сосны. И вдруг первый из них, самый отчетливый, круглолицый и бородатый, наклоняется и с улыбкой манит меня пальцем. В ужасе я бросаюсь искать маму и прижимаюсь к ее коленям, чтобы утишить дрожь. Но я не признался в том, что так напугало меня. Шестое чувство подсказывало: она начнет убеждать, что мне все померещилось. А мне этого почему-то не хотелось.

В детстве нас неизменно влечет к страху. Детский страх

живет повсюду: царит в темной комнате, прячется в шкафу или под кроватью, выглядывает из глубин вечернего дачного участка, смотрит на нас со страниц запретных книг. В детстве мы не можем спрятаться от страха нигде, потому что сами с наслаждением порождаем его.

Вся наша небольшая квартирка была воплощением ужаса. Детские страхи взрослым кажутся смешными, потому что их вызывает не реальная угроза, а те вещи и явления, которые по каким-то причинам были распознаны подсознанием как сигналы опасности. Я, например, панически боялся темных капюшонов. Так, увидев на картинке в детской книжке «Мифы Древней Греции» бога смерти Танатоса, я стал бояться его только потому, что изображен он был в черном плаще с капюшоном. Он немедленно поселился у нас в туалете, прямо за дверцей, открывающей доступ к канализационным вентилям. Пока горел свет, Танатос не смел вылезти наружу, но я знал: стоит свету потухнуть, тут-то он и появится. Не дай бог кто-то по ошибке выключит свет в туалете, когда я там...

Другое воплощение ужаса обитало прямо за моей кроватью. Человек в Серой Шляпе. Чуть ли не каждый вечер я с замиранием сердца ждал, что сейчас на спинку кровати плавно лягут руки в белых перчатках и вслед за ними поднимется Серая Шляпа с широкими полями... Дальше воображение отказывалось работать, ведь мне уже не могло стать страшнее.

Верить в домовых и полтергейстов, конечно, глупо, но не менее смешно не верить в приведения. Ведь «привидение» от слова «привидеться», а привидеться может все что угодно, если к тому располагает психическое состояние. Мистический страх для человека – наркотик, желание заглянуть за черту, но именно он – страх не пострадать, но увидеть – есть один из сильнейших: страх перед безумием.

И все же очень скоро мне довелось убедиться, что есть ощущения куда более неприятные, чем родные и близкие страхи...

3

...Отверженность и бессильная злоба. Об их существовании я узнал при первом же столкновении с социумом, когда, как все дети, пришел «первый раз в первый класс». Я стоял на линейке, сжимая в руках огромный букет цветов, из-за которого мне ничего не было видно. Мне было диковинно и неуютно в эпицентре копошащейся незнакомой жизни, которая засасывала меня, вырывая из привычного интимного мирка доброты и семейного уюта.

Тогда я, конечно, еще не понимал, *что именно* со мной происходит и отчего предательский комок то и дело подступает к горлу. Ища поддержки, я осторожно скосил глаза в ту сторону, где должна была стоять мама, но ее там уже не было. Я понял, что остался один на один с враждебным миром чужих людей. Сердце упало, слезы подступили к глазам и

назойливо защищали в носу. Первым порывом было кинуться на поиски того единственного, что составляло до сего момента центр моей вселенной, но я остался стоять, стараясь как можно незаметнее вытирать влагу из глаз и ноздрей о прозрачную упаковку цветочного букета.

Знаю-знаю, вы уже зевааете, господа, ведь нет ничего утомительнее, чем чужое нытье о фрейдовском детстве, из которого так-таки и вытекают все последующие невзгоды. Каждый из вас и сам не дурак рассказать, как его несправедливо ставили в угол или того хуже – дразнили жирной свиньей, чем нанесли неизлечимую рану его хрустальной душе. Но потерпите еще немного: раз уж я решил обо всем рассказать, нельзя устраивать из воспоминаний чехарду.

Итак, вскоре оказалось, что на этом свете любят меня далеко не все. Если раньше со мной обращались как с пупом земли, то теперь я был не более чем мелкий хрящик в огромном, закоснелом организме. Как только я (надо признаться, каждый раз не без борьбы) выдвоялся за пределы спасительной квартиры, я терял право на самость и превращался в рядового члена коллектива.

До сих пор задаюсь вопросом, что же это такое – жизнь в современном коллективе? Вряд ли ее можно назвать сосуществованием индивидуальностей или неким единением людей. Скорее это искусственно созданное уродство – наподобие несчастной собаки, в шею которой вживили вторую го-

лову. Увидев ее чучело в музее естественных наук, я содрогнулся, представив, как эти головы грызли друг друга за право похлебать из миски ради насыщения одного общего желудка. То же и в коллективе. Ты больше не можешь быть самим собой, парализованный прилепленным к тебе Другим. Самосознание постепенно покидает тебя, уступая место бесконечной череде социальных действий, и ты, уподобляясь животному, растворяешься в массе, теряя свою отдельность, забывая о том, что существуешь.

В зомбированном мире школы действуют все те же законы коллектива. Стань как все или будешь раздавлен – вот девиз, которым руководствовались мои большие и маленькие учителя, не понимая, что я, может, и хотел бы стучаться, уравниваться под гребенку, но у меня не получалось. Как бы я ни хитрил, как бы ни притворялся, у меня на лбу стояла печать чужака, вызывавшая подсознательный страх и неприязнь.

Однако постепенно приспосабливаешься ко всему. Вместо того чтобы раствориться в биологической массе, я научился прятаться в вакуум собственного «я», абстрагируясь от внешних раздражителей. Не подвел и организм – я начал часто и затяжно болеть. Если в радиусе километра появлялась хоть одна инфекционная бацилла, я немедленно ее улавливал, с наслаждением предвкушая дни выздоровления, когда боль и жар отступают, но слабость еще не позволяет покинуть ласковые объятия постели. Тогда я мог вдоволь чи-

тать, слушать музыку и придаваться грезам о том времени, когда стану взрослым, а жизнь – легкой и приятной.

4

«Человек создан для счастья, как птица для полета» – ни в чем я не был так уверен, как в истинности этого общеизвестного тезиса. Только полет этот никак мне не давался. Я не чувствовал себя счастливым. И поскольку я не ощущал счастья, то полагал, что я несчастлив.

С ранних лет во мне начали проявляться кокетство и интерес к противоположному полу. Правда, поначалу стремление это было предельно абстрактным, размытым, не сосредоточенным на реальном окружении, а направленным скорее на умозрительные образы. Герои книг и кинофильмов волновали меня куда больше, чем одноклассники, казавшиеся некрасивыми, глупыми и противными. Увы, это вовсе не значило, что мне было наплевать на их мнение обо мне...

Переходный возраст сыграл со мной злую шутку, превратив в гадкого утенка. Я был убежден, что все мои несчастья происходят от внешности, и мечтал о красоте как о единственном спасении. Что я только не пытался с собой сделать, чтобы стать привлекательнее! Румянил щеки, выщипывал брови, придавал ногтям разнообразные формы... Однажды даже ухитрился выбрать себе широкую полосу волос, чтобы лоб казался выше. Стоит ли говорить, что из этого вышло и сколько мне пришлось претерпеть, прежде чем волосы от-

расли обратно.

В отрочестве особенно ранят вещи, которых взрослый просто не заметит. Я изо всех сил старался выглядеть безупречно. Самым тщательным образом оглядывал одежду прежде чем ее надеть. Не менее тщательно разглядывал себя в зеркале перед тем как выйти на улицу. Чистился, причёсывался, подкрашивался и прилизывался как только мог. Но почему-то всегда что-нибудь оказывалось не в порядке. То морозящий дождь превращал мои гладкие, расчесанные волосы в растрепанную метелку. То я вдруг обнаруживал у себя на одежде пятно, которого перед выходом из дома и в помине не было. То предательский прыщ приводил меня в состояние, близкое к отчаянию. В общем, все то, что происходит каждый день со всеми, тогда представлялось моим индивидуальным проклятием. Безупречный внешний вид казался божьим даром, который мне никогда уже не достанется.

Тем не менее настал момент, когда моя заветная мечта начала сбываться. Уже годам к пятнадцати я достиг среднего роста, мои ноги вытянулись, бедра округлились, детский вздутый живот пропал. Прилегли ранее торчавшие уши, постепенно исчезла столько лет мучившая перхоть, черты лица, утратив былую размытость, стали более четкими и правильными. Однако я не сразу заметил эти перемены. Да и окружающие тоже. Ведь красота приходит не вдруг, она формируется постепенно, и увидеть эти изменения может только тот,

с кем ты давно не виделся. Меня же окружали люди, с которыми приходилось встречаться постоянно: одноклассники, соседи, ребята из деревни, куда меня каждое лето увозили отдыхать. Они не замечали происходивших во мне изменений, а если и замечали, то предпочитали не менять приоритетов, дабы не оказаться в глупом положении. Однажды заработав себе репутацию изгоя, избавиться от нее практически невозможно. Оказалось, не имеет значения, как я выгляжу, как веду себя, как отвечаю на уроках. Ненависть ко мне всего школьного коллектива к этому времени уже достигла апогея, то и дело взрываясь скандалами крупного или мелкого масштаба. Они видели во мне угрозу своему устоявшемуся мировоззрению, чуяли иную природу, а сам я, сознавая это, в душе гордился своей исключительностью.

5

«Человек создан для счастья, как птица для полета»... Когда эта фраза стала моей мантрой, всосалась в кровь и закодировала сознание?... Думаю, навязчивая жажда счастья проникла в меня одновременно со своим неотъемлемым спутником – чувством смерти.

Люди умирают. Я узнал об этом года в три, и мне это как-то сразу не понравилось. И хотя мне рассказали, что умирают рано или поздно все, я долгое время никак не мог себе этого представить. В глубине души я продолжал надеяться, что этой участи некоторым все же удастся избежать и что

эти кто-то — я и все, кого я люблю. Поэтому я отмахивался от мыслей о смерти, как от назойливой мухи, надеясь на их абсурдность и не имея душевных сил смириться с ними...

Вытянутый белый зал освещает холодный свет энергосберегающих ламп, неприятно смешиваясь с блеклыми лучами ноябрьского солнца. Медленным гуськом толпа людей проходит в двери, вытягиваясь шеренгой по всему периметру помещения. Я среди них. Мне чудно и пусто. Я бесстрастно смотрю на лакированный черный гроб на небольшом возвышении посреди зала. В нем, одетый в свой лучший костюм, лежит мой отец. Думал, будет страшно, но нет. Мне кажется, я спокоен как никогда, словно нахожусь в кинотеатре и смотрю фильм в стиле арт-хаус. Отца трудно узнать в этой красивой восковой маске, когда-то бывшей его лицом. Бескровная и невозможно спокойная, она подавляет величием. В ушах звенит от застывшего в воздухе напряжения. Что-то бубнит священник, но по лицам видно, что его никто не слушает. Вперед выходит моя мать с охапкой багровых роз и неуверенно подходит к гробу. Уронив цветы отцу на грудь, она сгибается как от удара под дых, и я, словно издалека, слышу вырывающийся из ее груди повизгивающий вой. Мне неловко за нее. Она пытается заткнуть рот носовым платком, чьи-то руки подхватывают ее под локти и уводят к стене. Священник, пытаясь заглушить ее горькие всхлипы, гундит все громогласнее. Все крестятся, я тоже пытаюсь, но никак не

могу сообразить, какой рукой и как это правильно делать. Для меня этот жест в новинку и не несет никакой смысловой нагрузки. Я повторяю его из вежливости, чтобы не привлекать внимания. Одна из лямок висящей на плече сумки предательски сползает и повисает вдоль бедра. Я не поправляю ее – боюсь лишним движением нарушить торжественность момента. Мой сосед по шеренге, один из приятелей отца, заботливо возвращает лямку на место. Я делаю вид, что не заметил, хотя в глубине души очень ему благодарен. От еле ощутимого в воздухе сладковатого запаха начинает мутить. Расстроенный мозг лихорадочно обрабатывает одну-единственную мысль: что делать, когда наступит моя очередь подходить к гробу? Поцеловать труп я не смогу, нет-нет, это совершенно невозможно. Дотронуться? Я содрогаюсь при одной мысли об этом.

Гроб медленно выносят четверо мужчин, и мы в забрызганном грязью катафалке едем на кладбище. Сквозь мелкую рябь дождевых разводов на стекле я провожаю взглядом проезжающие мимо машины, стараясь не смотреть на окружающих и не думать о том, что лежит в нескольких метрах от меня. Задней мыслью тревожусь, как бы мать не выкинула какой-нибудь очередной фокус. Некогда родная и любимая, сейчас она кажется удивительно чужой и неприятной. От нее так и веет горем, и непонимание, как теперь себя с ней вести, вызывает во мне все большее и большее раздражение. Я чувствую, что окружающие не одобряют моего поведения. Я

прекрасно знаю, чего они от меня ждут, но не желаю сейчас претворяться и что-то изображать. Меньше всего мне хочется, чтобы меня жалели. Поэтому, когда кто-нибудь ко мне обращается, я отвечаю несколько оживленнее, чем положено в подобных обстоятельствах.

На кладбище перед разрытой могилой гроб снова открывают. На этот раз я стою так близко, что могу разглядеть его лицо до мельчайших подробностей. Это первый труп, который я вижу в своей жизни. Это труп человека, который не мог умереть.

Меня охватывает ненормальное любопытство. Я жадно вглядываюсь в бескровные черты. Он как будто спит, мне даже кажется, что его грудь еле заметно вздымается. Но одна деталь завораживает и угнетает меня все более. Его нижняя губа, которую начало разъедать тление. Мне нестерпимо смотреть на нее. Но я не могу оторвать взгляд от главного свидетельства того, что этот корм для червей уже не имеет к моему отцу никакого отношения. Эта выщерблина на губе будет преследовать меня годами.

Мать склоняется над телом и со словами «прости и прощай» целует покойника в лоб. Бррр! Меня передергивает от ощущения того, как ледяная мертвая плоть соприкасается с ее губами. Моя очередь. Я, стиснув зубы, касаюсь пальцами его плеча и тут же убираю руку, не продержав и секунды. Гроб заколачивают. Какую-то женщину рядом со мной начинает мелко трясти. «Вам холодно?» Отрицательно качает

головой.

Черный лаковый параллелепипед медленно опускают в яму. Мы кидаем комья земли и еловые ветви. Все кончено.

6

Смерть имеет удивительное свойство: она не только отбрасывает близкого человека, но и разрушает связь между теми, кто остался жить. Тяжелее всего было то, что ни я, ни моя мать не были готовы пережить подобное. Отец умер не после долгой болезни и не от старости. Он ушел во цвете лет, сгорел за одну ночь. Инфаркт. Когда все произошло, меня и дома-то не было. А утром из больницы позвонили...

Ни в тот день, ни долго после я не мог находиться рядом с матерью сколько-нибудь продолжительное время. Приглушенно пробормотав, что отца больше нет, она словно отшвырнула меня на огромную дистанцию. Обнимая ее, я испытывал ужасную неловкость от собственной неискренности. Глядя в большое зеркало, висевшее напротив дивана, на котором мы сидели, я разглядывал нас как бы со стороны и пытался понять, испытывает ли эта женщина ту же угнетающую неловкость, что и я?

Долгие месяцы я чувствовал себя виноватым и перед матерью, и перед умершим отцом за свою неспособность сопереживать, и оттого еще больше отдалялся, мечтая сбежать подальше от родного дома.

Тяжелее отношений с матерью на тот момент для меня

были лишь отношения с самим собой. Именно тогда я начал ощущать свою конечность каждой клеточкой. Стоило мне выключить свет и лечь в постель, как на меня накатывала волна обостренного самосознания, заставлявшая целиком сосредоточиться на эфемерности собственного существования. Я все глубже и глубже вдумывался в то, что я – это я, что я есть, есть временно, и что с этим ничего нельзя поделать. Я думал об этом до тех пор, пока мне не становилось по-настоящему жутко. Жутко от осознания, что я брошен в этот мир насильно, без моего на то согласия, и рано или поздно буду абортирован из жизни так же без спросу, без какой-либо альтернативы. Еще невыносимее была мысль о том, что мне, скорее всего, придется пережить не только отца, но и мать. Я с ужасом думал, сколько еще несчастий может выпасть на мою долю. Тяжелая болезнь? Немошная старость? Полное одиночество? Все это вдруг стало не просто возможным, а почти осязаемым. Все беды, когда-либо случавшиеся с другими людьми и казавшиеся ранее чем-то невозможным в моей жизни, теперь витали в непосредственной близости. Пытаясь уложить все это в голове, я уже и не знал, чего больше боюсь: однажды умереть или жить, зная, что непременно умру, и наблюдать свое увядание.

Теперь-то я хорошо знаю: смерть страшна и одновременно ценна тем, что заставляет острее чувствовать себя, ощущать, что существуешь. И, честное слово, я завидую тем, кто живет один раз. У них есть шансы прожить без тяжелых бед

и сильных потрясений, тогда как я, вновь и вновь возвращаясь в жизнь, неизбежно перенесу все, что может выпасть на долю человека.

Но в те дни я еще был уверен, что живу единожды и не понимал преимуществ такого положения вещей. А потому я начал смотреть на свою жизнь как на определенный отрезок времени, который надо успеть наполнить счастьем, чтобы заглушить голос экзистенциального ужаса перед небытием.

С тех пор охота за счастьем стала моим кредо. А рано пробудившаяся сексуальность быстро подсказала, что единственно возможное счастье – это удовлетворение в любви.

7

В ту пору, когда разыгравшиеся гормоны стремительно превращали меня из подростка в девушку, я все время пребывал в состоянии влюбленности и сексуального возбуждения. А так как любить персонально было некого, то это пьянящее, непристойное чувство разливалось буквально на всех. Особенно ярко вождение вспыхивало в ситуациях и местах, казалось бы, совершенно для этого не подходящих. Главным местом любовной истомы был питерский метрополитен.

Вообще метро удивительное место. Через него можно познать человечество. Я и сейчас люблю спускаться под землю с единственной целью – наблюдать. Потряхивающийся вагон равняет и объединяет совершенно чужих друг другу людей,

которые никогда не смогли бы оказаться вместе ни в каких иных обстоятельствах. Многие говорят, что в метро они либо читают, либо полностью абстрагируются от окружающего мира. Я же наоборот – само созерцание. За людьми, едущими с тобой в одном вагоне, особенно интересно наблюдать, когда их немного. Тогда все они спокойны, все о чем-то думают.

Напротив сидит она. На вид ей лет тридцать пять – сорок. Она хорошо одетая, среднестатистическая, с окаменевшим выражением лица. И единственное, что привлекает внимание – две скорбные припухлости под глазами, тщательно замазанные густым слоем тонального крема. В этих еле заметных голубоватых мешочках скопились все ее разочарования, заботы и многолетняя усталость. Мне хочется встать и подойти к ней, провести рукой по ее тщательно завитым волосам, сказать ей пару ободряющих слов. И никогда я этого не сделаю. И никто не сделает.

А вот он. Лощеный, раскормленный, с тонкой соплей бородки под нижней губой. Уши заткнуты наушниками, он все время что-то жует, у него в глазах самодовольство павиана и полное отсутствие мысли. Он молчит, но я уже знаю, какой у него неприятный голос и развязный, ленивый тон. Он едет один, но я вижу, как он гогочет и матерится со своими друзьями и шлепает по заду круглолицую подружку.

А вот сидит положила ногу на ногу... она? Ну да, это, конечно, она, но по чистой случайности. Она вполне могла бы

быть мужчиной. Некрасивая, но ухоженная, с плотным шлемом черных волос, с небольшой бородавкой возле орлиного носа и хищным тонким ртом. Она что-то читает в своем смартфоне и жует облитые разноцветной глазурью конфеты. Каждый раз, доставая из кармана куртки следующую глазированную красотку, она отрывает взгляд от дисплея и смотрит, какого цвета конфету выловили ее идеально отманикюренные пальцы. И непонятно, что доставляет ей больше удовольствия – вкус этих красочных драже или прикосновение к их гладкой, блестящей, словно пластмасса, поверхности. Но вот мимо проходит какой-то бугай и случайно задевает кончик ее сапога, заставив на минуту забыть про конфеты. Зацепившись наэлектризованным взглядом за наглеца, она складывает губы в брезгливо-негодующее коромысло, но еще мгновение – и она снова одна во вселенной, всецело поглощенная смартфоном и своими сладостями. Слишком идеальными, чтобы захотеть их попробовать.

Лиц у чужаков не так уж много. Десятки – может быть. Десятки лиц на тысячи людей... не так уж много, согласитесь. Лишь изредка можно встретить лицо, которое *одно такое*. Но не так уж это важно на самом деле. Пусть люди вовсе не оригинальны – от этого разглядывать их ничуть не менее интересно. Я разглядываю лица стариков, пытаюсь представить, как они выглядели в молодости. Я вглядываюсь в молодые лица, воображая, какими они будут лет через двадцать. Изучая случайных попутчиков, я стремлюсь угадать, о чем

они мечтают, какие у них жизненные цели, что у них есть и чего уже никогда не будет.

Впрочем, я увлекся и ушел куда-то в сторону. Я говорил о любви и желании – чувствах, которые в годы первой юности не нуждались в конкретном предмете, а жили сами по себе, готовые вылиться на любого подходящего незнакомца.

Абсолютно равнодушный внешне, я изнывал от трепетного желания, разглядывая едущих со мной в одном вагоне молодых людей. Я мог отчаянно влюбиться в случайного попутчика всего на несколько минут, пока за ним не закрывались двери, а затем тут же забывал о нем, отвлеченный какой-нибудь новой мыслью. Эти юные загадочные существа, не имевшие ни имени, ни личности, ни, порой, даже лица, заставляли меня страдать не столько по ним самим, сколько по каким-то отдельным штрихам и деталям, которые я в них замечал. Меня сводили с ума завитки их густых, мягких волос – золотистые, черные, медные. Их женоподобные черты, еще не успевшие огрубеть. Их узкие бедра, обхваченные облегающими или бесформенными джинсами. Их нервно вздернутые плечи, их обветренные кисти с длинными тонкими пальцами... Я так и не научился равнодушно смотреть на этих угловатых Адонисов в мешковатой одежде. Но никогда уже не посмею утолить эту жажду...

Вряд ли я смогу вспомнить, как выглядел хоть один из тех, кто так волновал меня. Но и сейчас в воображении воз-

никает ускользающий, полупрозрачный образ юноши, о котором я грезил. Он – воплощение моего фетиша, в нем все, что я так любил: юность, мягкие волны волос, строго очерченная линия скул, классический треугольник торса... И руки... Стоило мне взглянуть на них, как я уже чувствовал их у себя на спине, представлял, как они медленно движутся, разливая тепло по всему телу...

Хоть образ идеального любовника был весьма зауряден, а требования, казалось бы, невелики, среди моих знакомых не находилось никого сколько-нибудь подходящего на эту роль. Возможно, потому, что я знал этих людей. У них были имя, характер, биография и куча недостатков. Поэтому я продолжал невротически страдать по своему идеалу, улавливая его отдельные черты во многих, но полностью не находя ни в ком.

Наслаждаться страданием и предчувствием счастья я мог бесконечно. Учеба не занимала меня, друзей у меня не было, кроме одной-единственной школьной товарки, которую я тепло и крепко ненавидел. Единственным увлечением, или, как сейчас любят говорить, хобби, для меня было чтение книг и слушание музыки, объективно – совершенно безобразной. Уткнувшись носом в подушку и спрятавшись за наушниками от всего мира, я упоенно отбивал сердцем ритмы гремящих в ушах барабанов, вызывая в воображении сцены сакрального «первого раза».

Его шелковистая, мягкая ладонь нежно, но крепко сжимает мои пальцы. Мы идем по каменистой дорожке вечернего парка, вдыхая пьянящий аромат белопенной сирени. Птицы еще не умолкли, но их сонливый щебет раздается все реже, все тише... Мы говорим о пустяках и сами себя почти не слушаем. Я искоса, смущаясь, поглядываю на его статную фигуру в узких джинсах и безупречной черной рубашке с расстегнутым воротом. Игра света на волнах его пшеничных волос особенно возбуждает... Я испытываю идиотское, почти неконтролируемое желание зарыдать и упасть на колени, припасть губами к этим длинным пальцам, облобызать кончики его ботинок, прижаться щекой к узкой линии бедер... Конечно же я не сделаю ничего подобного! Ведь я леги — до кончиков маникюренных ногтей. Как никогда на мне все ладно, все подобрано со вкусом. Брюки, юбка, какая разница? Главное, чтобы сидело, главное, чтобы было неотразимо. Иногда я отворачиваюсь или поднимаю лицо вверх, делая вид, что люблю сиреневато-розовым небом, и чувствую, как он тоже исподтишка любит меня.

Он сводит меня с дорожки под сень деревьев, и я перестаю дышать от все нарастающего напряжения. Он порывисто прижимает меня к стволу дерева и проникает языком в полураскрытые губы. Мир вертится в голове, я чувствую его дрожь, его страсть, его желание...

— Ты сводишь меня с ума... — шепчет он, задыхаясь.

И вот мы уже не в парке, мы в его спальне – темной, таинственной, озаренной дрожащим огнем свечей. Что я чувствую? Страх. Любопытство. Вожделение. Восторг!

Теперь он нарочито медлен.

– Ты правда хочешь?..

– Да...

Он сжимает в ладонях мое лицо, жадно впиваясь в него горящими глазами, и мы долго, томительно целуемся. Пальцы медленно расстегивают черную рубашку, потом уверенно переходят на пуговицы моей блузки. Я пытаюсь ему помогать, но безуспешно, слишком волнуюсь. Я полностью отдаюсь его опыту, его власти, его ласковой силе... Его влажные губы прокладывают дорожку по моей шее, от мочки уха до впадинки ключиц, потом ниже, потом...

Диск с музыкой заканчивается, я снимаю наушники. Видение исчезает до следующей «музыкальной паузы».

Вы улыбаетесь, господа? Да, такие киноленты сомнительного содержания когда-то прокручивали в воображении и вы. В них отсутствует даже толика оригинальности. Книжные полки магазинов ломятся под грузом подобных фантазий, а пленкой, потраченной на их визуализацию, можно было бы дважды обмотать земной шар. Грезя, мы знаем, что так не бывает. Но мы почему-то до последнего верим, что так будет *у нас*. Человек вообще склонен приписывать себе исключительность. «Не такой как все» – вот как мы хотим,

чтобы о нас думали, и в то же время делаем все возможное, чтобы слиться с серой массой таких же уникалов. Узнав же на опыте, что «в жизни так не бывает» и у нас, мы жутко возмущаемся, вопия, что нас обманули, хотя никто нам ровным счетом ничего не обещал.

Что до меня, так я упивался мечтами до полной интоксикации. Науськанный классическими романами прошлого, я тонул в игре светотени, огнях свечей в отраженье зеркал и хрусталя, утопал в складках черного бархата и шелке белых простыней, в нежных поцелуях и клятвах, густо политых пузырящимися розовыми соплями.

Сейчас я вспоминаю этот период одновременно с раздражением и ностальгией. Все это нескоро повторится, если вообще повторится когда-нибудь. Потребуется прожить, возможно, не одну жизнь, чтобы я вновь стал глуп и счастлив, счастлив одним лишь предвкушением будущего, заново начав мечтать о том, чего не бывает. Но в этой жизни моя душа слишком рано превратилась в кусок протухшей говядины. Слишком рано я поумнел, достигнув той фазы, когда воспоминания становятся дороже надежд. И все же теперь, вспомнив все до конца, я ни на что не согласился бы променять свои воспоминания – ни на какие сокровища мира...

Она не была перстом судьбы, как это называют любители красивых выражений. И все же сама по себе встреча была

неизбежна – не с ним, так с другим, не все ли равно? Я был юной, привлекательной девушкой, я жаждал любви и счастья. А потому не мог рано или поздно не встретить особу противоположного пола, которая более или менее подошла бы на роль героя-любовника.

Вам, господа, наверняка хочется узнать, как его звали. Право слово, мне этого не понять. Какое значение может иметь его имя? Разве оно поможет представить, что это был за человек? Скажу я, что его звали Сергеем, или Александром, или Вениамином, что от этого изменится в его облике или внутреннем мире? Иные, правда, наделяют имена каким-то тайным смыслом, пытаются постичь их мнимое влияние на судьбу. Ну что ж, как мы знаем от сурового Джонатана Свифта, иные и из простого огурца способны извлечь солнечную энергию. По мне, так человеческое имя обладало бы куда большим смыслом, если бы давалось не при рождении, а несколько позже, когда проявляется характер. Например, если человек упорен и настойчив, его назвали бы Петром, если прирожденный лидер – Виктором, а если где-то сильно нагадил – наречь его Повсекакием, так бишь ему и надо.

Впрочем, я опять отвлекся. Итак, господа, если для полноты сопереживания вам необходимо узнать имя, порешим, что его звали Андреем².

² Петр – (греч.) «камень», Виктор – (лат.) победитель, Андрей – (греч.) «мужчина».

Безжалостно терзали Шуберта. А может, это уже давно был какой-нибудь Глюк или Шуман. Кто б он там ни был, вместе с ним терзался и я, стоически удерживаясь на стуле и рассеянно отколупывая зубами лак с плохо покрашенного ногтя. В маленьком черном платье и маминых сапогах я ощущал себя совсем неплохо, но мое местонахождение и происходящее вокруг начинало приводить в отчаяние. Строгий взгляд матери не оставлял ни малейшей надежды на спасительное бегство. Впрочем, не будь даже этого взгляда, малодушный побег на полусогнутых ногах между рядами все равно неизбежно привлек бы негодующее внимание насупившейся публики. Зато, если бы я был там один (что изначально было невозможно, ведь добровольно я бы не пошел на концерт классической музыки), то можно было бы дать деру во время антракта. Но мой неусыпный страж был рядом, и оставалось лишь одно – мысленно зажмуриться и постараться выжить.

Приучить меня к симфониям и сонатам с недавних пор стало невысказанным, но в то же время, к сожалению, слишком явным и назойливым желанием моей матери. Если бы желание это родилось несколько раньше, скажем, когда мне было года эдак четыре, возможно, мечтам суждено было бы сбыться. Но теперь, когда объекту внушения любви к прекрасному было ни много ни мало семнадцать лет, попытки воплотить их в жизнь были абсолютно бессмысленны. Я не только не мог отличить одного композитора от другого и по-

нять, когда кончалась одна вещь и начиналась другая, — я даже не улавливал, есть ли какая-нибудь мелодия у этих хрестоматийных музыкальных произведений. Слушать же музыку в концертном зале я вообще считал издевательством над природой человеческой. Ведь музыка предполагает возможность погрузиться в нее полностью, а значит, ее нужно слушать в удобной одежде, гордом одиночестве и удобной позе — лучше всего лежа на животе. В зале же присутствовало человек двести-триста, все время раздавались какие-то посторонние звуки: то чей-то кашель, то вздох, то шуршание букетом, то тихий шепот на ухо соседу, то вибрация мобильного на зубодробительном «бесшумном» режиме. Нельзя было ни потягиваться, ни чесаться, ни подергиваться в такт разливающимся трелям, а жесткий стул, к которому я был прикован, делал эти простые человеческие радости как нельзя более желанными.

Просидев так полтора часа, я понял, что либо все-таки свалюсь на руки почтеннейшей даме в пуховой шали слева, либо накроюсь вправо, получив возмущенный втык от матери. В безысходной тоске я обвел глазами зрительный зал. В левой его половине, на пару рядов дальше меня, сидела небольшая группа старшеклассников, пришедшая сюда, видимо, так же как и я, — под конвоем. Одни делали вид, что слушают, другие даже не пытались соблюсти приличия и болтали между собой чуть ли не в голос, не обращая внимания на шиканья впереди сидящих.

Эти гамадрильные создания интереса у меня не вызвали. Зато они стали выгодным фоном для юноши, совсем на них не похожего. Рослый, темноволосый, большеглазый, он спокойно сидел, закинув ногу на ногу, и с неподдельным удовольствием слушал музыку. Казалось, льющиеся со сцены звуки вызывают в нем какие-то воспоминания и мечты, складываются в особую картину ему только ведомого мира.

В этот момент я почувствовал неприятный тычок локтем в правый бок.

– Не вертись!

Я покорно устремил глаза на сцену, а сам стал гадать про себя, о чем может думать этот темноглазый юноша, внимая недоступной мне гармонии мировых шедевров...

Меня пробудил от раздумий оживленный шум антракта. Стадо меломанов резво устремилось занимать очередь в буфет и ватерклозеты. Я поднялся и на затекших от неподвижного сидения ногах направился к выходу. Заинтересовавший меня парень по-прежнему был в зале. Проходя мимо, я перехватил его взгляд и, задушив подступившее смущение, кокетливо улыбнулся.

Моя маман в это время, «дав по газам», вслед за всеми устремилась брать штурмом блага цивилизации, так что лучшего момента для знакомства могло не представиться. Наверное, он тоже это почувствовал, поскольку, заметив мой взгляд и нарочитую замедленность движений, улыбнулся в ответ и поднялся с места.

– Похоже, тебе нравится классическая музыка?

– Вообще не вся и под настроение. Но та, что сейчас играли, нравится.

– А чем?

– Не знаю... Просто нравится и все... – он слегка пожал плечами и растерянно улыбнулся. – Ну, а тебе нравится концерт?

– Нет.

– Нет? Почему?

– Мне нравятся только те мелодии, которые я могу напеть спустя полчаса после того, как их услышу.

– Хм....

Он слегка приподнял брови и, выдержав короткую паузу, произнес:

– Слушай, а интересная мысль...

Его взгляд слегка поплыл, и он ненадолго задумался.

Мы стояли на балюстраде у лестницы, ведущей в фойе концертного зала. До конца антракта оставалось еще минут пять. Мне было лестно и волнительно от того, что он подошел ко мне познакомиться. Обычно никакие взгляды и улыбки не срабатывают, твоих мимолетных намеков либо не понимают, либо пугаются. Мы обменялись телефонами и... возможно, этим бы все закончилось, если бы моя мать, заметив, что я разговариваю «с приличным молодым челове-

ком», не решила нам немного помочь. Она подошла и, как бы не замечая моего нового знакомого, сказала, что не останется на вторую часть.

— Я что-то нехорошо себя чувствую, может, давление. Я пойду домой. А ты оставайся!

Мы понимающе улыбнулись друг другу, и впервые за вечер во мне шевельнулось, что она — моя мама.

Стоит ли говорить, что вторую часть концерта мы так и не услышали? Забрав куртки, мы направились напрямик в недорогое кафе поблизости. Сели за столик. Он, попросив разрешения, зажег сигарету и выпустил в сторону серую струю дыма. Теперь, разглядывая вблизи его не по годам взрослое лицо и хорошо развитую фигуру, я не находил в нем ничего из того, что так любил. Грубоватый, коротко стриженный, он никак не сопоставлялся ни с образом юноши, которого я себе придумал двумя часами ранее, ни с тем образом, который я годами собирал по веткам питерской подземки.

Выющиеся шелковистые пряди вокруг точеного лица, миндалевидные разрезы глаз, адонисово изящество силуэта... Ничего этого в моем собеседнике не было. Но что-то в нем все равно меня притягивало. А может быть, мне просто льстило его волнение и желание угодить. Говорил он складно, местами даже занимательно, но начинала немного раздражать его простиупающая нервность, напряженность в лице. Я не мог понять, почему так действую на него, но старал-

ся принимать эти проявления за комплимент.

А потом он провожал меня домой. Поздний вечер чернеющей синевой накрыл осенний Петербург. Глазами зажженных окон дома смотрели на набережную Мойки, где я шел под руку со своим новым знакомым, пребывая в состоянии мечтательной безмятежности. Мой спутник исподволь поглядывал на меня и неловко молчал.

У подъезда мы остановились. Поблагодарив за прекрасный вечер, Андрей поцеловал меня в губы, и я ощутил легкий привкус табака и недавно выпитого кофе. Это не был мой первый поцелуй в жизни, но как правильно реагировать, я все же не знал. Ни в тот момент, ни время спустя я так и не понял, что почувствовал, когда его губы впервые встретились с моими. И почувствовал ли вообще что-нибудь.

11

Все было строго по канону: цветы, конфеты, походы в кинотеатр на последний ряд. Андрей вошел в мою жизнь, как нож в масло, не дав времени ни опомниться, ни подумать. Да мне, откровенно говоря, и не хотелось думать. Достаточно было того, что наконец появился человек, который красиво ухаживал, привлекал завистливые взгляды сверстниц и при более близком знакомстве, похоже, не слишком понравился моей матери. Если бы не ее скрытое сопротивление, которое я почувствовал уже через пару недель, неизвестно, как бы все сложилось. Но ее прозрачные намеки на то, что ее дочь

достойна птицы более высокого полета и что эти отношения начинают существовать во вред учебе («...у тебя же выпускной класс!»), значительно ускорили развитие событий.

Ровно через месяц знакомства от него прозвучало смущенное и невнятное признание в любви. Сначала я ничего не ответил, отделавшись долгим поцелуем. Но уже на следующий день, разнеженный относительно целомудренными ласками, я прошептал игривое «да» его попыткам выбить ответное признание.

Это «да» было тем, что от меня хотели услышать. И мне ничего не оставалось, как самому поверить, что оно вырвалось из глубины сердца...

Я лежал с затуманенными от пронизывающей боли глазами и смотрел в темное окно. Надо мной, прерывисто дыша, весь мокрый от пота, нависал мой новоиспеченный любовник. На задворках сознания истерически всплескивало руками удивление: почему мир вокруг остается прежним?.. По стеклам монотонно барабанил дождь, на плохо подметенном полу валялись скомканные вещи, из соседней комнаты доносился говор забытого телевизора. Лишь сумерки сгущались все сильнее, напоминая о том, что дома меня ждет скандал.

Когда все, наконец, закончилось, Андрей в сотый раз за вечер шепнул, что любит меня, и тут же отправился к окну курить. Я же, сухо сглатывая, нащупал на полу свои трусы, носки и бюстгальтер и стал одеваться.

– Подожди, куда ты спешишь?

Я покорно лег обратно на растрепавшуюся постель. Бессознательно фиксируя в мозгу каждое движение этого постороннего человека, я словно видел его в первый раз. Его неприкрытая нагота, ноги с развитыми икрами, покрытые темной порослью, запах дыма, который он выпускал из скривившегося рта, – все это словно оскорбляло меня и требовало разразиться слезами.

В мечтах о сакральном «первом разе», которые, как оказалось, не имели ничего общего с реальностью, я никогда не представлял, что будет после того, как все закончится. По всей вероятности, мечтая, я подсознательно хотел умереть прямо во время процесса, чтобы не оскорблять «таинство» возвращением в обычное состояние. В действительности же оказалось, что только эти первые минуты *после* и имеют значение, только они остаются в памяти навсегда. Я никак не мог поверить, что все, о чем я так жадно грезил, уже позади и не принесло мне ни счастья, ни морального удовлетворения. В голове не укладывалось, что то, о чем написано столько книг и снято столько фильмов, сводится к примитивному биологическому взаимодействию двух организмов.

Почувствовав в конце концов мое удрученное состояние, неудачливый герой-любовник виновато заполз на другую сторону разложенного дивана и стал жалобно смотреть на меня, пока не заснул богатырским сном. Стараясь двигаться как можно тише, я оделся и вышел на балкон. Меня окутал

вечерний мрак, а шум дождя и ветра не дали соседям услышать, что я там в одиночестве делал.

12

Вполне могло случиться, что после столь сильного разочарования я перестал бы отвечать на звонки и порвал с ним всякие отношения. Вполне могло случиться, что, устав бороться с моей затянувшейся фригидностью новичка и тонкой душевной организацией, он бы сдался и исчез навсегда. Но вместо этого наши отношения продолжали активно развиваться, так что со временем я свыкся с действительностью, найдя в физических отношениях и приятную сторону.

Но долго еще меня не оставляло какое-то странное чувство потери. Я все время мысленно возвращался в начало и пытался представить, как все могло бы произойти по-другому. Впервые в жизни я заглянул за грань необратимости, совершил то, что никак нельзя было отыграть назад. Нельзя было спрятаться «в домике» и сказать «а давай этого не было». За мной захлопнулась дверь в детство, и я обнаружил себя на пороге новой жизни, которая оказалась совсем иной, чем я предполагал.

Нет, я не страдал. Но каждый день с самого утра меня преследовало ощущение чего-то *не того*. Будто пломбу новую поставили, и она все время мешает; и вроде бы знаешь, что надо о ней забыть, не наяривать по ней без конца языком, но все равно лижешь, все равно нащупываешь и каждый раз

раздражаешься. Любое действие, любое движение давалось мне тогда с трудом, словно оно было вовсе и не нужно, и совсем даже лишнее. В те дни я как никогда остро чувствовал незримое присутствие некоего Альтер-эго, которое неотрывно, с любопытством наблюдало за мной, снимало на пленку кинокамеры, по-станиславски крича на ухо «не верю!».

В объятиях моего избранника мне было сладко и противно одновременно. Противно не из-за него – из-за себя. Словно я лгу, претворяюсь перед собой и перед ним. Но как ни странно, чем более далеким он казался, тем сильнее меня к нему влекло. Не подававшее доселе признаков жизни удовольствие от близости начало раскрываться, удивляя разнообразием оттенков. Постепенно все мое время и пространство заполнилось его плотью, по сознанию разлилась белая река его упругого, мускулистого тела. Необъяснимое раздражение вперемишку с желанием бежало мурашками по спине, когда мой взгляд путешествовал по обнаженному торсу, невольно цепляясь за островок черных завитков вокруг пупка, который мне страшно мешал. Я словно заново очерчивал каждый изгиб, каждую линию. Начиная с выгнутой линии скул и обогнув плавный подбородок, я спотыкался о заметно выступавший кадык и с облегчением падал в небольшую впадинку посреди гладкой рельефной груди. Затем, поднявшись чуть выше, я стекал по широким округлым плечам и жилистым предплечьям до самых кистей с артистическими пальцами. Однако стоило отступить чуть в сто-

рону, и меня сразу вводили в смущение покрытые жесткой темной порослью живот и ноги, резко выпадающие из моих представлений о совершенстве. Я сердился и отчаянно пытался вбить доставшегося мне мужчину в игрушечную формочку того, что когда-то себе придумал. Безуспешно. Даже попытка отпустить ему волосы подлиннее потерпела фиаско — они стали обвисать, тускнеть и вконец потеряли вид, пока их снова не остригли. Все это злило и раздражало, и свое раздражение я изливал в капризах, мелких ссорах и бурных примирениях.

Мне нравилось мучить его, уязвлять, заставлять нервничать, чтобы потом униженно зализывать нанесенные раны. Бывало, в течение суток я мог несколько раз перемениться к нему. То я был спокоен и холоден. То на меня накатывал такой приступ раздражения, что я с трудом сдерживался, чтобы не послать его к черту. То я вдруг снова влюблялся так неистово, что готов был ползти и целовать его следы. Андрей не понимал этих перепадов настроения, и они причиняли ему сильную душевную боль.

Когда я впервые вернулся домой под утро, мать ничего не сказала. Но по лицу ее я понял, что она, наконец, все поняла. Мне вдруг стало так неприятно и стыдно под этим испытующим взглядом, что возникло желание размахнуться и ударить ее по лицу. Испугавшись самого себя, я поспешил укрыться в своей конуре и с головой залезть под одеяло. Но

и там на меня, казалось, смотрели ее внимательные, осуждающие глаза. А потом и тысячи, тысячи глаз, которые без ножа разделявали меня, словно в прозекторской. Весь мир знал, где я бываю и что делаю. Весь мир осуждал, глумился и любопытствовал: не изменилось ли что? взгляд? походка? Уж они-то знали. Сразу видели, сволочи. «Пошли прочь! Прочь!» Но они лишь ближе подступали к крохотной клетке, в которой я был заперт, и уже совали свои бесстыжие пальцы сквозь толстые стальные прутья, желая пощупать, удостовериться. «Прочь! Откушу до локтя! Убирайтесь!»

Мне опять стало неудобно спать одному в темной комнате. Стоило закрыть глаза и отвернуться к стене, как каждый рецептор на спине напрягался в предчувствии опасности. Вот сейчас покажется *она*, змеей заструится по ковру, неслышно зависнет возле кровати, холодным и влажным заскользит под одеялом...

Я вздрагиваю и оборачиваюсь. Приглушенным светом желтит комнату ночник у кровати. В зеркале полки книг. Старый письменный стол поскрипывает под струями холодного воздуха из оконных щелей. Я делаю свет в ночнике ярче, и он мешает мне спать до рассвета.

– А где же бабушка с дедушкой?

С самого утра я готовился к походу в гости. Я их никогда не видел и был рад, что наконец с ними познакомлюсь. Мне

не понравилось, что мама одела меня совсем не празднично. Штаны-непромокайки, ботиночки-вездеходы. Да еще и ехать пришлось так долго. Всю дорогу я думал о том, как мы подойдем к дому, как дедушка откроет нам тяжелую входную дверь. Я представлял его очень живо – не раз видел на черно-белых фотографиях. Лысый под коленку, с добрым, строгим лицом и маленькими слоновьими глазами. А там и бабушка выглянет и пригласит войти. Кучерявая, худая, высокая. Мама о них всегда тепло говорила, любила их.

Вот и пришли. Оградка, неопрятная клумба в две сажени земли и деревянный крест. Мне было три года. Когда я ехал, я знал, что они умерли. Но я еще не знал, что значит умереть.

14

Этот эпизод из детства неожиданно вспомнился посреди очередной бессонной ночи и потом часто вертелся в голове, равно как и похороны отца. Страх перед неизбежным концом разыгрался с новой силой. А с ним и страх перед жизнью, ее непредсказуемостью, неизбежностью. Меня никто не спрашивал, хочу ли я появиться на свет, и никто не спросит, когда придет мой черед его покинуть. Нежелание жить и страх умереть – эти навязчивые идеи мучили меня, стоило остаться наедине с собой. Поэтому я старался как можно реже показываться дома, цеплялся за Андрея, как утопающий за соломинку, и, как никогда, стремился к людям, новым знакомствам и впечатлениям.

Стоит ли говорить, что, целиком погрязший в своих переживаниях, экзамены я благополучно провалил и не попал в Петербургский университет культуры и искусств, о котором для меня так мечтала мама. Втайне я даже был рад: ну какой из меня искусствовед? Но претерпеть за это пришлось – не дай бог никому. Зачем я тебя растила, куда ты катишься, да кем ты станешь... Поездка на море, которую мне обещали после поступления в институт, естественно, не состоялась. Зато впереди был целый год невесомости.

Делая вид, что усиленно готовлюсь к реваншному штурму alma mater, в действительности я тратил все силы на наверстывание упущенных знаний о реальной жизни. Я с интересом наблюдал за ещё не распробованным миром посторонних людей и за собой – в компании этих людей. Подобно скворцу, я перенимал их интонации и выражения, копировал жесты и манеру поведения, но никак не мог проломить стену, которая нас разделяла. Все они были друзьями и знакомыми Андрея, я же проходил исключительно как «плюс один» и носил на шее ярлык «девушки друга», лишённой в их глазах какой-либо индивидуальной ценности. Я видел и прекрасно сознавал, что меня всего лишь терпят, порой терпят из последних сил, но все равно продолжал ходить за Андреем хвостом, чтобы наблюдать и слушать.

Что это были за люди, подробно рассказывать мне неинтересно, да и вряд ли это будет интересно вам, господа. Заурядные молодые особи с нехитрыми желаниями. Парни хо-

тели девушек, девушки хотели замуж. За кого – уже дело второе. Поэтому, судя по услышанным историям, они не гнушались время от времени переходить по цепочке друзей, и каждый следующий неизменно становился второй половинкой и потенциальным супругом. Начинались разговоры о свадьбе – в женском кругу, за спиной у мужчин, конечно. Чуть ли не каждое сношение, казалось, приводило к беременности, в абсолютном большинстве случаев – мнимой. Когда в очередной раз «проносило», буквально через месяц история повторялась, причем каждый раз «совершенно случайно». В одном случае свадьба, и правда, состоялась. Нас тогда заставили кидать деньги в ползунки, возлагать цветы к подножию Медного всадника и пить дурное шампанское. От большой любви у молодоженов родился ребенок – через пять-шесть месяцев после бракосочетания.

Пошлость пошлого человека... Порой она кажется чрезвычайно привлекательной. Я тщетно пытался понять этих людей, влезть в их шкуру, посмотреть на мир их глазами. Меня завораживала примитивная ясность их целей и чаяний. «Плодитесь и размножайтесь» – вот та заповедь, которой они слепо следовали, не желая ничего более. Глядя на них, я пытался заново понять себя. Не хочу ли я того же? Не лучше ли пахнет из их тарелок? Что нужно сделать, чтобы стать таким же?

Но что-то внутри меня не принимало даже мысли о том,

что я в самом деле мог бы стать одним из них. Вовсе не потому, что я их презирал и считал их образ жизни мелочным и недостойным. Хотя да, считал. И презирал. Но в то же время понимал, что правы они, а не я. Ведь они были *нормальные*, и их было *много*. Два этих факта в сочетании возводили их правоту в ранг метафизической аксиомы. Я же был один. Вывертыш. Недотыкамка, не способный даже приблизительно сказать, чего он хочет от жизни. И сближение с племенем нормальных не только не помогало мне справиться с собственными тараканами, но еще более убеждало меня в том, что в общественном организме я нечто вроде раковой опухоли.

«Жизнь – это способ существования белковых тел»³. Эта заученная в школе, некогда бессмысленная фраза разворачивалась передо мной во всей своей вульгарной и отвратительной справедливости. Но смириться с ней тогда было выше моих сил.

Сама идея того, что в моем теле может возникнуть живое существо, которое его раздует и превратит в инкубатор, казалась мне абсурдной. Еще более абсурдной казалась мысль о том, что, появившись на свет, это существо заменит мне собственное «я», превратив меня в вечное, неизменное «мы». В это самое «мы» как раз и пытался превратить меня Андрей.

Получив на предложение руки и сердца твердый и однозначный отказ, он решил действовать постепенно, выстраи-

³ Определение, данное Фридрихом Энгельсом.

вая наши отношения кирпичик за кирпичиком. Он старался не давить, но я постоянно ощущал его навязчивое стремление к ясности и стабильности. Я никогда не обманывал его. Я честно признавался, что не вижу себя ни в роли жены, ни в роли матери, и что вряд ли это может измениться в обозримом будущем. На словах он это принял, потому что не имел сил меня оставить, но примириться с этим на самом деле никак не мог. Поэтому он заставлял меня время от времени встречаться с его родителями и не пресекал застольных тостов за наше светлое будущее.

Его родители, люди простые, правильные и трудовые, как назло меня полюбили и видели только то, что хотели видеть. Я был перспективной будущей невесткой, которая поддержит их сына на жизненном пути и поможет достичь всяческих успехов. Не сейчас, конечно. Сначала нужно поступить в институт, поучиться хоть первые пару лет, а потом уже можно думать о семье и детях. Да и Андрей за это время успел бы возмужать, закончить среднее специальное, подготовиться к ответственности. Их планы были мне хорошо известны и до глубины души омерзительны. Я втайне терпеть не мог эту благодушную семью за то, что они так слепы и не понимают, насколько я не соответствую тому, что они себе воображают. Андрею я не раз говорил об этом напрямик, но воспитание не позволяло мне вывести из заблуждения также и его родных. Это должен был сделать он сам. Но не делал. И я волей-неволей чувствовал себя лицемерной крысой.

– А что же вы ничего не кушаете? Кушайте, кушайте, не стесняйтесь! Вон, картошечку берите...

Полная луна потенциальной свекрови расплывалась в сладкой улыбке, обнажая ряд неровных желтоватых зубов. Ее чуть влажные то ли от воды, то ли от пота руки ловко подкладывали мне на тарелку новую порцию угощения, игнорируя все мои попытки протестовать. Растянуть одну дольку помидора на сорок минут – вот искусство, которым я в совершенстве овладел за те вечера, которые вынужден был провести в родовом гнезде моего друга сердца. Сказать по правде, есть в гостях было для меня пыткой с самого детства. Не то чтобы мне не нравилось, как было приготовлено. Просто у меня перед глазами все время мельтешили руки, которые все это трогали, резали, готовили. И глядя на них я мог думать только о том, где эти руки были до этого. Говоря по-просту, я испытывал чувство брезгливости – ни на чем не основанное, но едва преодолимое. Удивительно, что при этом я совершенно спокойно мог есть даже в самом сомнительном общепите, ничуть не заботясь о том, в каких условиях был приготовлен мой заказ. Наверное, потому, что готовили его люди абстрактные, даже не люди, а люди-автоматы, без имени и лица. А в гостях ты точно знаешь кто и точно знаешь где. Посторонний, но при этом живой человек из плоти и крови на своей кухне, пропитанной только ей свойственными запахами (с которыми ты к своему неудовольствию уже

успел познакомиться), сжимал в теплой, солоноватой ладони вспотевшую картофелину. А теперь извольте-ка эту картофелину в рот. Иначе обидишь хозяев. Ведь не объяснишь же им: «Извините, я против вас ничего не имею, но есть у вас не могу, потому что я неврастеник».

И я послушно давился помидором под неморгающими, убийственно доброжелательными взглядами родителей Андрея, с покорностью ожидая окончания экзекуции.

Был ли я все еще влюблен?.. Не знаю, не уверен. Единственным неизменным чувством была жалость. То нежная, всепоглощающая, то раздраженная и злая. Мне было бесконечно жаль, что ему так со мной не повезло. Андрей не был виноват ни в чем, он лишь оказался не в том месте и не в тот час. Погрязнув в зловонной канаве любви ко мне, он уже не чувствовал в себе сил из нее выбраться. Рассечь гордиев узел надлежало мне, но я вопреки здравому смыслу гнал от себя навязчивые мысли о расставании. Жалость сковывала мою волю, нашептывая, что как-нибудь все наладится, и я продолжал мучить его и себя.

Так, увенчавшись терновым венцом жалости и водрузив на плечи крест любовных обязательств, я брел изо дня в день, полный уверенности, что больше ничего в моей жизни не будет. Я был так увлечен отпеванием самого себя, что даже не замечал тех коротких счастливых моментов, которые дарил мне мой первый любовник...

Вечерело. Я стоял, опершись локтями о ржавый карниз балкона, и рассеянно наблюдал, как по небу расплывается густой розовый закат. Длинные сиреневато-серебристые облака словно замерли в ожидании сумерек. Одно из них невольно приковывало внимание. Чем дольше я всматривался в его причудливые отливов, тем яснее видел большой остров посреди тихой зеркальной воды. Корабли мирно отдыхали у берега, по острову рассыпались дома и сувенирные лавки. «Наверное, это какой-нибудь курорт», – мелькнуло в голове. Я слегка вздрогнул от неожиданного теплого прикосновения. Руки Андрея мягко обхватили меня за плечи.

– Ты не замерзнешь? – защекотал мне ухо ласковый шепот.

– Смотри, остров...

– Где? – Он внимательно стал вглядываться в указанном направлении и вдруг... – Да, в самом деле, я тоже вижу его!

Мы стали разглядывать остров вместе.

– Видишь корабли?

– Где?

– Вон там, в бухте.

– Ааа... да, вижу. А красивая бухта, правда? А вон там, наверное, развлекательный комплекс, видишь колесо обозрения?

Так мы, обнявшись, стояли и разглядывали этот остров-призрак, где не было ни горя, ни забот, где царило веч-

ное лето... У меня защипало в носу, глаза заволокло слезной пеленой. В сердце кольнуло счастье. Горькое, секундное, очень человеческое, оно забилося в горле и сжало грудь.

– Дееетиии! К столууу! – разmozжил меня о бетонный пол балкона зычный голос матери Андрея.

О господи, опять...

15

– Спасибо тебе, я замечательно провел время, увидимся!

– На чай не зайдешь?

– Ой, у тебя там мама, надо будет общаться. Нет, как-нибудь в другой раз.

Олег нажал кнопку лифта и, прежде чем скрыться за дверями кабины, аккуратно чмокнул меня в щеку.

Лет в четырнадцать у нас с Олежкой состоялся первый для нас обоих поцелуй. Тогда он мне вроде бы даже нравился, но теперь... Увидев его огрубевшее лицо со следами юношеских прыщей, я был сильно разочарован, а разговор и вовсе зашел в тупик уже через первые полчаса. Но зато будоражила мысль, что я делаю что-то недозволенное, можно сказать, крамольное. Сказав Андрею, что поеду гулять с подружкой, я втихаря отправился на встречу с парнем, вокруг которого в моей памяти еще не до конца развеялся романтический флер. Мы держались за руки, как пионеры, без намека на что-то большее, но мне казалось, я слышу его учащенный пульс. Я понимал, что ему очень хочется меня поцеловать. И

решишь он на это, я вряд ли оказал бы сопротивление, хоть и не собирался видаться с ним еще раз.

Но он не решился. Створки лифта захлопнулись, я отпер дверь в квартиру и уже хотел закрыть ее за собой, как вдруг почувствовал, что дверь уперлась во что-то твердое.

Нога в знакомом кроссовке влетела в дверной проем – на пороге стоял Андрей. С испариной на бескровном лице, он тяжело дышал и смотрел на меня мутными расплывшимися зрачками.

– К-кто это?..

Он грубо вытащил меня за рукав куртки на лестницу и заставил присесть на ступеньку, сам опустившись возле. Голос звучал неестественно высоко, перебиваясь частым дыханием. Трясущаяся рука судорожно потянулась за сигаретой, но огонек зажигалки несколько раз потух, прежде чем ему удалось, наконец, прикурить. Он глубоко вдохнул и медленно выпустил струйку дыма, пытаясь успокоиться.

– Так кто это был?

– Знаешь что, пока ты в таком состоянии, я с тобой разговаривать не собираюсь. Я уйду.

– Куууда?!..

Словно в замедленной съемке, я увидел, как его рука ныряет во внутренний карман куртки и вытаскивает пистолет. Звон в ушах, не проходивший с момента внезапного появления Андрея, лопнул в мозгу яркой вспышкой адреналина. Не вполне осознавая, что делаю, я попытался вырвать ору-

жие у него из рук. Смешно даже. Андрей крепко вжал ствол себе в висок, положив на курок указательный палец.

– Говори. Правду. Я пойму, если ты врешь.

– Хорошо-хорошо, только спокойно! Это Олег, друг детства, с моей дачи, мы не виделись года три, может, больше, – быстро затараторил я. – Написал мне в чате, пообщались, решили сходить погулять. Я тебя обманула...

Рука с пистолетом нервно дернулась.

– Спокойно! Я тебя обманула, что иду с подружкой. Чтобы ты зря не волновался. Мы погуляли, он проводил меня до двери квартиры, поцеловал в щеку и ушел. Все.

– В щеку?

Пистолет тихо опустился на колени.

– Если ты за мной следил, значит, и сам знаешь.

– Нет, я не видел. Я только слышал звук поцелуя.

В воздухе на полминуты повисла пауза.

– А теперь *ты* мне скажи, это же не настоящий пистолет? – осторожно поинтересовался я.

– Да что ты?..

Он резко откинул руку в сторону дальней стены и собрался нажать на курок.

– Стой! Ты совсем идиот?! Сейчас все соседи повыскакивают!

Все же он пояснил, что пистолет пневматический. Словно разом лишившись сил, Андрей бросил его на ступеньку и понурил голову. Его трясло. Стало ясно: пришло время от-

ветного наступления. Я принял оскорбленный вид и железным тоном стал допытываться, с чего вдруг ему ударило в голову шпионить за мной. Он стал уверять, что увидел нас случайно, а пистолет взял потому, что они с другом в этот день собирались сходить пострелять в тир. Я не верил ни одному слову. В конце концов он признался, что интуитивно заподозрил неладное и решил пробежаться по району без особой надежды меня встретить.

– Я уже собирался идти домой, когда увидел вас.

Но мне, на самом деле, не так уж важны были его объяснения. Момент настал, я это чувствовал. Отведя взгляд в сторону, я безэмоционально заговорил о том, что между нами все кончено. Я так увлекся собственной речью о бессмысленности отношений без доверия, что не сразу заметил, как плечи Андрея затряслись и он, прикрыв лицо ладонями и склонившись к коленям, заплакал как ребенок.

– Я покончу с собой... застрелюсь... – доносились до меня глухие звуки его голоса.

– Давай-давай, а я после этого уйду в монастырь и буду оплакивать тебя всю жизнь, – саркастически парировал я.

Но при этих словах сердце заныло от жалости и страха за него.

Мгновение поколебавшись, я положил руку ему на затылок и ласково, по-матерински стал поглаживать его коротко стриженные волосы. Через пару минут мы уже бурно целовались, прося друг у друга прощенья. Он шептал, что не пе-

реживет расставания, я уверял, что никогда его не брошу. Его руки судорожно сжимались вокруг моей талии, быстро и умело двигались под кофтой, и меня охватило желание немедленно отдаться ему, прямо здесь, на лестнице. Но мы не стали этого делать. Попрощавшись, мы разошлись, делая вид, что инцидент исчерпан. Но поганое чувство, что все безнадежно испорчено, осталось у обоих.

Мы продолжили встречаться, и вроде бы все стало по-прежнему. Но упреки и подозрения в мой адрес звучали теперь все чаще, и я понимал, что меня не простили, хотя отпустить и не собираются. Я же за собой вины не чувствовал (или почти не чувствовал), мне просто стало невыносимо скучно.

Сколько мог, я боролся. Боролся с собственным эго, беспощадно давя в себе нарастающее раздражение. Но оно оказалось сильнее. Организм начал отторгать навязываемые ему ласки, все мое «я» восставало против ежедневного насилия над самим собой. Но я все еще надеялся, что это не более чем кризис отношений, который вот-вот «рассосется». Я продолжал повторять слова любви и клятвы верности, исправно исполнял все неписанные обязательства и покорно отдавался на любовном ложе, пока однажды не почувствовал непреодолимое желание отравиться. Желание уйти из жизни стало почти осязаемым. Я с наслаждением чувствовал в пище привкус яда, который угожливо подсыпало туда мое воображе-

ние, и с надеждой ждал предсмертных спазмов. Но в действительности подсыпать яда у меня не было ни смелости, ни возможности.

Сейчас понимаю, как хорошо, что я оказался таким трусом. Отравись я тогда, вот насмешил бы наших. Херувимы и серафимы животики бы надорвали от смеха, явись я к ним отравившимся. Да и сам Старикан наверняка не смог бы отказать себе в удовольствии отвесить мне очередного хорошего пинка под визг и улюлюканье блаженных прихвостней...

16

Я медленно и расторопно, по одной перебирал хрустящие зеленые купюры с изображением Бенджамина Франклина. Как и многие другие семьи, пережившие дефолт 1998-го, деньги мы держали в условных единицах в банке – стеклянной банке из-под варенья, для конспирации завернув их в несколько слоев пожелтевшей газетной бумаги. Этот неприкосновенный валютный запас предназначался вроде бы на черный день, однако мы его не тронули даже в тяжелые времена после кончины отца.

Я никогда не отличался ни жадностью, ни расточительностью и не чувствовал потребности располагать личными деньгами, превышающими карманные расходы на перекус в забегаловке или проезд на общественном транспорте. Но иногда я не мог отказать себе в удовольствии тайком достать заветную банку из шкафа и разложить перед собой ее содер-

жимое. Я получал странное удовольствие от прикосновения к деньгам, хотя и не испытывал потребности их потратить. Они нравились мне сами по себе, их шелест, запах, плотность, еле ощутимая шершавость. Я пересчитывал их снова и снова, хотя уже давно знал конечную сумму. Подобно четкам, стодолларовые бумажки помогали мне расслабиться и сконцентрироваться на размышлениях.

Этот раз был особенным. Впервые я извлек деньги из банки с определенным намерением, которому еще только предстояло оформиться в окончательный план, но к активной реализации которого я приступил уже несколько недель назад. Впервые, разворачивая газетную бумагу, я не просто развлекался, но совершал преступление – так как знал, что деньги в банку больше не вернутся...

За мной лет с тринадцати водился грешок. Я писал стихи. Витиеватые, чувственные и откровенно плохие. Я был достаточно умен для того, чтобы знать им истинную цену, но достаточно глуп, чтобы продолжать писать их в надежде рано или поздно выродить что-то путное. Всего однажды я попробовал прочитать несколько своих стихотворений матери, но по ее вытянувшимся в струнку губам понял, что мои творческие потуги не были оценены по достоинству. Какое-то время спустя она поинтересовалась, не написал ли я что-нибудь новое. В ответ я соврал, что это был случайный экспромт и что листки со стихами я потерял, равно как и интерес к их

написанию. «А, ну и слава богу!», – прозвучал ее ответ, короткий и звонкий как пощечина.

Внешне не подав виду, в душе я был так ошарашен и уязвлен, что, и правда, на какое-то время прекратил свои стихотворные упражнения. Но что-то внутри меня продолжало складывать рифмы и чеканить размер, назойливо стучась в висок в поиске выхода. К моменту, о котором я рассказываю, у меня набралась целая тетрадь стихов под грифом «сгодится», не считая тех наколеночных сочинений, которые сразу отправлялись в мусорное ведро. Пожалуй, в этой тетради не было ни одного стихотворения, которое нравилось бы мне целиком. Но в некоторых из них я находил отдельные строчки, которыми втайне гордился.

А жизнь идет вперед, а время все летит,

Невидимая дрожь по телу пробежит.

А за окном дождейки стучат по тротуару,

А за окном снежинки танцуют под гитару...

«А это очень даже ничего», – думал я, и мой внутренний гений весело отплясывал ламбаду.

Решение было принято внезапно. То ли явилось во сне, то ли я уже давно его вынашивал, сам себе в этом не признаваясь, только однажды утром я проснулся с четким пониманием того, что именно мне нужно сделать.

Шло самое горячее время – пересдача заваленных в прошлом году экзаменов. Казалось, на этот раз удача на мо-

ей стороне. Я набрал достаточное количество баллов, чтобы продолжить борьбу за место в облюбованном моей матерью вузе. Но в самый ответственный момент, всех обманув, я не стал относить документы в университет.

Ритуально пересчитав хрустящие купюры, я любовно спрятал выкраденные деньги в потайной карман сумки и начал по-партизански собирать пожитки. Дождавшись, когда мать уйдет, я написал короткую записку шокирующего содержания и, подбадривая свой боевой дух радужными картинками независимого будущего, покатил чемодан к лифту, на первый этаж, за двери подъезда, все дальше и дальше от родимого дома.

Меня ждал ночной поезд на Москву.

17

В поезде я не мог заснуть. Лежал и слушал, как колеса вагона ведут счет: раз-два, три-четыре; раз-два, три-четыре. Словно хронометр, они отсчитывали время в пути. Время, не принадлежавшее ни прошлому, ни будущему.

Дорога дарит столь любимое мною состояние невесомости. Межвременье, в котором ощущаешь себя полностью свободным от жизни. Ничего не происходит, все будто замерло.

Я лежал на нижней полке, развернувшись лицом к окну, и рассеянно наблюдал, как электропровода скачут то вверх, то вниз на фоне розовеющего неба. До прибытия оставалось

еще часа три. Достаточно, чтобы подумать о том, что делать дальше. Например, где я буду ночевать следующей ночью, после того как подам документы в Московский институт литературы и критики имени Л.Н. Толстого. Но думать получалось плохо. Голова была пустой и чистой, как небо за окном вагона-плацкарта. Вокруг было полно людей, большинство спали, кто-то кашлял, кто-то тихо шуршал пакетами, но я не ощущал их присутствия, привычно опустив вокруг себя стекла незримого бокса. Я был один перед лицом вселенной. Я смотрел ей в самое нутро, по капле впитывая вечность. Я снова находился на пределе самосознания. Но на этот раз я чувствовал себя бессмертным.

О своем намерении навеки покинуть не только родной дом, но и город, в котором он находится, я сообщил матери короткой запиской, оставленной на кухонном столе. Я не стал ни оправдываться, ни просить прощения, ни входить в детали. Лишь сообщил, что буду учиться в Москве, на кого – дело мое, и чтобы она не пыталась сама меня искать. Я сам выйду на связь, когда буду готов к этому.

Первым делом я сменил сим-карту, лишив таким образом мать и – в первую очередь – Андрея возможности связаться со мной по телефону. На самом деле я вовсе не хотел подвергать маму такому испытанию и, безусловно, рассказал бы ей все уже в прощальном письме, не будь я уверен, что Андрей измором выпытает у нее, где я и что со мной. Зная, как

искусно Андрей умеет давить на болевые точки и манипулировать чувством жалости, я не сомневался: стоит мне сообщить матери, где меня искать, как они оба будут тут как тут.

Задачей номер два было как-то обезопасить свои скромные капиталы. Зайдя в банк, я перевел на карту почти всю имевшуюся наличность, оставив только мелочь на карманные расходы. Уже через два часа я убедился, что это было наимудрейшее из моих спонтанных решений. Стоило войти в комнату хостела, где мне предстояло провести, возможно, не одну ночь, как стало ясно: среди шестнадцати возможных постояльцев общего номера я буду в национальном и социальном меньшинстве. Вернее, номер – это громко сказано. Скорее барак, до отказа напичканный двухэтажными койками и снабженный одним общим душем и туалетом. Комнату наполнял резкий запах кислой капусты и каких-то восточных приправ, которыми, казалось, было пропитано все вокруг. По соседству с доставшейся мне кроватью спал азиат, растянувшись на койке прямо в одежде и выставив из-под покрывала желто-серые мозолистые пятки. Я заглянул в его запрокинутое плоское лицо, словно перекошенное затаенным испугом, и почувствовал, что вот-вот потеряю сознание...

Но выбирать не приходилось. Отдельный номер в гостинице был мне не по карману, и все надежды я возлагал на институтское общежитие. Словно в полусне, я запихал чемодан под кровать, благо красть оттуда было нечего, и сра-

зу же отправился подавать документы в литературный вуз. В Москве я был впервые и всегда хотел ее увидеть. Помимо цены, единственным плюсом моего «постоялого двора» было его месторасположение: в самом центре, в получасе ходьбы от Кремля и с видом на одну из главных артерий города – Новый Арбат. До института также было недалеко – минут двадцать пешком. Погода улыбалась во весь солнечный рот, маслянистые листья деревьев весело шелестели под ветром, разливая щемящий сердце запах лета. Но я не видел ничего. Лишь путался в лабиринтах московских переулков и пытался совладать с нарастающим волнением. Когда я подходил к старому желтому зданию в стиле классицизма, сердце билось уже где-то в горле, а голова шла кругом от переизбытка кислорода, который я глотал все быстрее и резче. Что будет, если у меня не примут документы или я не пройду по баллам? Что делать, если мне не предоставят бесплатного жилья? Ехать обратно в Питер? Вернуться на щите из бесславного похода, попасть под домашний арест и пытки слезами и укорами? Нет! Лучше умереть! умереть! умереть!..

Тайком про себя я молился. Наверное, молился. Вообще я чуждался религии и относился к религиозным людям с недоверием. Мне казалось, их вера всё равно, что ноющий зуб, о котором они не могут забыть ни на минуту и не дают забыть окружающим, держа их в постоянном напряжении и застав-

для чувствовать себя как будто в чем-то виноватыми. Куда больше я симпатизировал людям неверующим или же верующим, что называется, по-своему. То есть теревившим высшие силы только по исключительным поводам. Себя я относил скорее к атеистам, хотя в детстве мать и пыталась привить мне любовь к Богу. Не скажу, что она была по-настоящему религиозной, а после смерти отца и вовсе растеряла всякую набожность вместе с интересом к жизни. Однако из раннего детства сохранились воспоминания, как пару раз она водила меня в церковь и пыталась своими словами пересказывать библейские мифы. Она говорила, что Боженька – это тот, кто нас создал и теперь неустанно следит за нами. «– И за мной? – Да, всегда». Эти слова надолго засели у меня в голове. Что бы я ни делал, я словно чувствовал на себе взгляд кого-то невидимого, и это доставляло мне немало беспокойства. Особенно мне это не нравилось в минуты, скажем так, сугубо личные. Мысленно я пытался устыдить Бога, чтобы он перестал всё время подглядывать, ведь в конце концов это неприлично. Но он меня не слушал, оставаясь на позициях неусыпного, но безразличного наблюдателя, так что постепенно я с ним свыкся и начал о нем забывать.

Чем старше я становился, тем менее правдоподобными казались мне религиозные верования, а идея загробной жизни и вовсе мнилась абсурдной и абсолютно непривлекательной. Я хотел жить здесь и сейчас, в эпицентре земного бытия, и Бог для этого мне был не нужен. Тем не менее в важ-

ные минуты жизни я мысленно обращался с просьбой к кому-то незримому, приводя массу доводов, почему мне это так необходимо, и стараясь быть при этом как можно убедительнее. Если я получал свое, я тут же забывал о проделанном внутреннем монологе, равно как и обо всем, что наобещал во время оно. Если же чаяния мои оказывались напрасными – страшно обижался на этого кого-то, обвиняя его в равнодушии и несправедливости.

Так и на этот раз я уговаривал незримого кого-то, ожидая сначала на скамье у двери приемной комиссии, а затем у кабинета начальника общежития, бессмысленно наблюдая за бегущими мимо туфлями, ботинками и кедами. И, как никогда, я был раздавлен услышанными ответами, несмотря на то, что у них была и положительная сторона. Баллов, полученных мною при повторной сдаче госстандарта, было достаточно для поступления на бюджетное отделение сразу после творческого конкурса, причем без дополнительных экзаменов. Это был, конечно, плюс. Но здесь же скрывался убийственный минус – рассчитывать на общежитие я мог не раньше начала учебного года. Остальным абитуриентам, даже иногородним, это было все равно: сел на поезд и – ту-ту! – домой до первого сентября. Мне же надо было найти хоть какое-нибудь мало-мальски приличное жилье – перекантоваться летние месяцы. Найти срочно! Еще пара ночей в хостеле с добрым десятком соседей из дружественных республик, и я, наверное, сошел бы с ума.

Потрясенный первой неудачей, я сидел упершись локтями в колени и, запустив пальцы в шевелюру, нервно дергал себя за волосы. Со стороны эта поза наверняка выглядела презабавно, хотя мне самому было не до смеха. Я клял кого-то невидимого за никчемность и ругал себя последними словами. Надо же так сдурить, поехать в чужой город, не имея там ни одного знакомого! И даже не удосужиться как следует все разузнать, найти заранее комнату. Гроши в карман – и приехали! И что теперь прикажете делать?..

– Девушка, позвольте я вас спасу!

Я вздрогнул, пробужденный от горестных мыслей этим неожиданным звонкоголосым окликом и оторвал взгляд от елочки паркета.

Передо мной стоял средневековый рыцарь с развевающимися волосами и бородой, в блистающих доспехах, с мечом в руке.

Хотя на самом деле его каштановые волосы не развивались, а лишь лохматились в художественном беспорядке, небольшая бородка была аккуратно подстрижена, а вместо лат красовались черная косуха из грубой кожи, серые полотняные брюки и темно-синий джемпер крупной вязки. Да и правая рука его поигрывала вовсе не Эскалибуром, а всего лишь ключами от машины. Но от его широкого скуластого лица и крепкой, коренастой фигуры на меня дохнуло Средневековьем, словно от музейного гобелена. Зеленые, по-кошачьи прозрачные глаза оглядывали меня с добродушной

смешинкой и успокаивающей уверенностью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.